

А. Зорич (1899—1937)

Общий знакомый

...Значок с красной розеткой на груди – это только жетон общества по охране карася во внутренних водоемах, но выглядит, как орден, и можно лезть с передней площадки; кустики подстриженных усов на губе – как будто капнуло из носу и это так и оставили вместо того, чтобы вытереть платком; длинный ноготь на мизинце, которым попеременно ковыряются в зависимости от потребностей момента, то в зубах, то в ухе, то в носу; язык, засоренный всеми вульгаризмами псевдосоветского жаргона, всеми этими «пока», «от той мамы», «на ять», «на це», «с покрывкой», «с присыпкой», «с накладкой». Где только ни встретишь, где только ни увидишь и ни услышишь этого человека, этот сложный, модернизированный гибрид невежества, пошлости, лицемерия, мещанства, житейской ловкости и чудовищного себялюбия?

Вот он сидит в театре или на концерте – на концерте обязательно с закрытыми глазами, чтобы каждый видел, что он благоговеет. Как же – Лист, Чайковский, Бетховен! Он растроган, он парит в высотах, он потрясен. Но не верьте! Ничего он не потрясен, а просто, томясь от скуки, подсчитывает мысленно и на пальцах, сколько дано на базар и почему мало сдачи, а выйдя, обязательно скажет жене за вашей спиной, когда в ушах у вас и в сердце будет звучать еще трепетная мелодия:

– Да, прекрасно! Какая мощь, какая экспрессия, какая глубина! Но я хочу спросить, милая, вчера на обеде подавали потроха, и было пять пупков. Два мы съели, а где же остальные три? Надо, милая, смотреть за Дашкой: она объедается, как на беконной фабрике...

Нигде он не парит, и если идет «Вишневый сад», и вы почувствуете, как защекочет у вас в горле, когда Фирс бросит свою потрясающую фразу: «Человека забыли!», он зевнет рядом, прикрыв рот программкой:

– Да, это – пьеса! Современным драматургам и не понять, пожалуй, как это можно: четыре акта и ни одного выстрела, и ни одного бранного слова. Ах, Чехов, Чехов, Антон Павлович! Какой талант! Хотя, с другой стороны, смотришь и думаешь: чего, собственно, люди тоскуют? Отчего страдают? Яички у них есть, говядина есть, в молоке хоть купайся... Чего же им еще надо?..

Ничего он не благоговеет и, придя домой, прямо после Бетховена поставит сейчас же «Гоп со смыком» и долго будет, наслаждаясь, причмокивать и подпевать: «Гоп со смыком, это буду я!» А потом оглядит стол, потрет руки и скажет: – Огурчики малосольные? О, це дило треба разжувати! Ударим, ударим по огурчикам!

Это тоже его любимое словечко: «ударим по бульончику», «ударим по фрикаделькам»... А ударивши, погладит живот, зевнет и скажет:

– Ну-с, а теперь и храповицкого задать можно.

И ляжет, и захрапит, но как захрапит! С присвистами, с руладами, с вариациями, как будто у него целый джаз в носоглотке разместился. И, если жене станет невыносимо, и она растолкает его, удивится: «Милочка, но что же тут такого? Храпел даже Игорь Северянин».

А вот он ходит по выставке, завернув туда, потому что это делают все и не побывать неудобно, ходит и громко изливает свои чувства, и блещет вслух эрудицией знатока перед каждой картиной. Послушать его, так кажется, будто это, по крайней мере, Игорь Грабарь со значком карасинового ударника на груди.

Но не верьте! О, да о чем бы ни зашла речь, у него всегда есть в запасе десяток готовых заученных общих фраз, которыми он прикрывает свое невежество, как фокусник прикрывает салфетками сосуд, чтобы скрыть его пустоту. Искусство? Как же, как же! Репин, например, – помните убийство царевича Ивана? Как гениально раскрыта драма личности! А Серов? Вот кто нашел настоящие краски в тоскливой русской природе! А Куинджи? Вот кто заставляет содрогаться перед лирическим пейзажем! Литература? Как же, как же, Фет, например: «Шопот, робкое дыханье, трели соловья...» Вот она, настоящая романтика бытия! Разве нынешние так пишут? Философия? Ах, как гениально сказал Розанов: «Я не ищущ истинны, я ищущ покоя». О, это навсегда останется близко каждому во все эпохи...

Но на самом деле – какие там чувства, какая эрудиция! И перед картинами он стоит холодным, как пороссячий студень, все это вычитано из справочника по Третьяковской галерее; и в действительности больше всего он любит цветную картинку из старой «Нивы» с надписью «Купающаяся нимфа» – берете в руки, имеете вещь. И в области философии он искренне убежден, что Розанов, который написал трактат о цели человеческой жизни, и Владимир Николаевич Розанов, который режет аппендициты, исправляет грыжи в Боткинской больнице, – одно и то же лицо, и если что ему близко тут, так это единственно гоголевский философ Хома Брут, который никогда науками себя не изнурял, но преимущественно курил тютюн и ходил в гости к булочнице. И из всех писателей нынешних он не читал кроме Зощенки – как в бане у кого-то номерок с ноги сперли, а в кухне подрались из-за ежика и нервного инвалида стукнули по кумполу. По кумполу! Над этим он хохотал до упада, и это – единственный образ, который пленил его во всей современной литературе. Да, впрочем, и у Фета-то, кроме этих двух строк, он ничего не знает, старых не читал точно так же, как и новых, и его настоящий вкус – это книжечки, которые продавались раньше из-под полы на Петровке: «Что делает жена, когда мужа дома нема»... Его невежество прямо поразительно для человека наших дней. Ведь это именно о нем рассказывают, что, когда в его присутствии прочли однажды из Пушкина: «Судите сами, какие розы нам заготовит Гименей» – речь зашла о том, кто же такой этот Гименей, он высказался, что, поскольку тот заготавливает розы, очевидно, это садовник из Лариных. И если имя нерусское как будто – так, очевидно, немца выписали. И это именно он ответил, когда у него спросили, почему пустыня Сахара называется Сахарой: – Наверно, там сахар делают.

– Да нет, там песок!

– Ну, а я разве сказал, что рафинад?

Он вездесущ, он настигает вас всюду, он неумолимо вторгается в поле вашего зрения, ваших мыслей, ваших чувств на каждом шагу, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались.

Вот вы пришли утром на работу, вы развернули свежий газетный лист. Он уже ждет вас и говорит, жуя бутерброд с кетовой икрой: – Привет, привет. Ну, как жизнь молодая? Читали последнюю сводку о вспашке под зябь? Миллион гектаров! О, это увлекательно, как роман, это упоительно, как сказка! Новая деревня может волновать, как мечта!

Ведь он – сочувствующий, и это все должны знать, и он не упустит ни одного случая, когда это можно лишний раз подчеркнуть. Но, конечно, в своем сочувствии он напоминает того исторического исправника из Елабуги, который в дни Февральской революции послал телеграмму Родзянке: «Двадцать два

года состоял скрытым республиканцем, честь имею в нынешние светлые дни поздравить ваше превосходительство». Он сочувствует, но попробуйте-ка отправить его в эту новую деревню, которая упоительна, как мечта! С каким бешенством встретит он это известие, посягающее на его покой, на его квартиру, на его плюшевый зеленый гарнитур «от той мамы», на его двуспальную довоенную никелевую кровать, на которой можно «задавать храповицкого». Как будет возмущаться и негодовать, как неистово будет шипеть:

– Но с какой стати! Но почему именно я? Но по какому праву?

Он поднимет на ноги всех и вся, целую неделю он без устали будет носиться по всем инстанциям, всем надоест, всех измучит, и конечно, в конце-концов его никуда не пошлют. О, он не из тех, которые поступаются собственным комфортом во имя торжества идей...

Или в какой-нибудь одуряющий весенний день вы выбрались посмотреть восход солнца на Воробьевы горы. Конечно, и он уже там – ведь солнце всходит здесь на большой с присыпкой. И в самую чудесную минуту, когда скользнут первые розовые лучи по застывшей воде и сверкнет первая росистая паутинка на ветвях деревьев, в самую замечательную минуту, когда у вас дрогнет от восторга и радости все существо, он громко скажет сбоку своей спутнице:

– Кр-расота, кто понимает! А вот нарисуй художник, никто и не поверит. Вы любите природу?

Потом заложит уши ватой, чтобы не продуло ветром, и предложит пойти к сторожихе в лес, заказать молоко с коржами и яичницу-глазунью. Ударим по глазунье! И, уходя, непременно оставит на ближайшем дереве или скамейке имена для потомства. Не просто какая-нибудь Ольга Павловна или Павел Иванович, нет! Ему нравится, чтобы любимая называла его козлик или пусик, а сам он именует любимую – Люлю, птичка или киска. И напишет: «Люлю и козлик. Июнь 1934». Пусть весь свет знает, что он – романтик и весной наслаждается здесь лицезрением зари!

Или вы вышли погулять в парк – и вот он стоит с компанией где-нибудь в самом людном месте, у фонтана, и, шурясь, оттопырив губу и подпрыгивая ногой, раздевает глазами каждую проходящую девушку. О, в своем мужском кругу и внутри себя он никогда не подумает и не скажет о женщине – умна она или глупа, добра или черства, развита или пустовата. Это для него и неважно, и неинтересно. Зато какие у нее ноги, грудь, спина, бедра, это разбирается, это смакуется, это обсуждается со всех сторон, как стать лошади, на которую делается ставка. Он твердо убежден, что нет женщины, от которой в течение недели нельзя было бы добиться взаимности, и которая устояла бы перед парой шелковых чулок. И если ему сказать, что женщина, на которую он сощурился, – идеалистка, например, или ей противны пятиминутные адюльтеры, или она верна человеку, которого любит, он только пожмет плечами:

– Что же, если верна, тогда нужно две пары.

Его вкус – это, собственно, парикмахерские гризетки, у которых низкие лбы, шиньоны на висках, которые любят, чтобы мужчины смотрели на них бараньими, осоловелыми глазами, жали им ноги, одевая ботинки, и в патетические минуты говорят, закрывая глаза:

– Как ты красив, проклятый!..

Но это необязательно, и по злой иронии жизни и судьбы большей частью в орбиту его попадают женщины, которые в душевном смысле стоят на десять голов выше его.

Вот они встретились, познакомились, и уже через день он начинает говорить, что стосковался по жизненной красоте, по любви, которая полна духовной близости, и жаждет окунуться в нирвану, и видеть небо в алмазах, а жена у него мещанка и, несмотря на все его усилия, не подымется выше интересов кухни и старого тряпья. Конечно, он врет! Какие там усилия, какая там нирвана! Достаточно послушать сцены, которыми сопровождает он каждую пережаренную котлету, каждый незаштопанный носок. Глаза у него делаются в эти минуты круглые и злые, голос визгливый, и от волнения он свистит и шипит передним зубом:

– Кажется, я просил! Кажется, я заслуживаю! Или, вы думаете, я женился для того, чтобы наживать изжогу и ходить в носках без пяток?..

Потом, наскоро покончив с духовной нирваной, он переходит к делу и уже говорит волнуемым, вкрадчивым шепотом, что в глазах ее есть что-то вакхическое и, когда он смотрит в них, у него начинает кружиться голова, уже философствует, что жизнь коротка и надо ловить мгновенья и уже цитирует с манерой скверного провинциала-любовника стишки: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать!» Но какая там дерзость! Да он, когда купается, сначала полчаса мочит подмышками, а, увидев в комнате мышь, вспрыгивает на диван или на стол. И голова у него не кружится, потому что слова эти он говорил уже десятки раз, и в эту минуту, наверно, обдумывает, где бы половчей достать боны, или соображает, что сказать жене, если откроется это очередное похождение. Впрочем, тут у него раз и навсегда установлен удобный стандарт, в котором он не трудится даже варьировать ни одной детали. – Но, милая, разве это важно? – говорит он каждый раз, уличенный в обмане. – Биологическое отправление и больше ничего. А сердце бьется в унисон только с твоим, а святая святых всегда будет только в тебе! И если сказать ему, что так нельзя, что в это надо вкладывать душу, потому что иначе получается свинство, он только усмехается:

– Душа? Дорогой мой, а что есть душа? Пар, коллоидное вещество, и не больше. Об этом даже у Малашкина сказано...

Если стишки не помогают, срочно изменив тактику, он объявляет вдруг, что безумно хочет иметь ребенка. Дети – цветы бытия, дети – это наше будущее, и, боже мой, всю жизнь он мечтал иметь ребенка! О, он хорошо знает эту струну в душе женщины, на которой можно играть! Но вот это случается, его случайная подруга расскажет ему и вдруг увидит с отчаянием, рухнув сразу с алмазного неба в грязь, как растерянно и блудливо забегают у него глаза, ей станет сразу холодно, и все опустится внутри...

– Да, – скажет он, – конечно... но, знаете ли, нынешние условия... Теснота, шесть долгих и двадцать два коротких, пеленки по талонам дают... Пожалуй, мы и не подумали в те чарующие минуты... Я рад, я растроган, это – мечта всей моей жизни, но имеем ли мы право быть эгоистами? Но будет ли счастливо это дитя, которое я уже люблю?

И опять он врет, потому что у него не шесть долгих и двадцать два коротких, а прекрасная квартира в Арбатском переулке, и не пеленки по талонам, но отличный распределитель с грушами и сигаретками на витрине. Почему, за что, как это удастся устраивать? Он ничем не заслужил этого, он не несет никакой большой работы, он не нуждается в этом по здоровью и не имеет на это

никаких прав, но у него всегда есть все, что обеспечивает покой, удобства, комфорт. О, это поразительное искусство брать от жизни все, ничего не отдавая взамен! О, это удивительное умение нырять мгновенно в каждую щель, которая хоть на миг откроется глазам!

Этот человек не упустит нигде и ничего, за что можно ухватиться и что может обеспечить лишнюю крупницу благополучия в жизни. Даже пяти минут времени в очереди, сквозь которую он всегда лезет вперед, жонглируя своим карасиным значком, даже место в трамвае, которое предназначено для инвалидов и в которое он вращается мгновенно, точно припаянный оловом.

– Уступите, гражданин, больному. Ведь человек на костылях.

– Ну, знаете, у меня у самого мозоли.

И не уступит, и еще попросит не толкать костылями, и будет сидеть так, с видом человека, для которого единственно и создан мир, пока не доедет до службы, до кино, до магазина, до стадиона, до одного из тысячи мест, где каждый видит изо дня в день эту мелькающую фигуру...

Ибо он – везде, втираясь ужом, он проникает частицами своей поганой философии и своего морального уродства во все поры нашей жизни, оскверняя дыханием старого все, к чему бы он ни прикоснулся. И, сталкиваясь с ним, хочется сдернуть мишуру его внешних покровов и на глазах у всех посветить ему, по выражению Гейне, в лицо: «Смотрите, он каков, пошляк и шельма наших дней!»...

Известия. 1934. 24 мая